

Однониточные теории.

Незаконная дочь философии.

Наверное, каждый, заглядывавший в историю философии, удивлялся наивности первых попыток объяснить природу из нее самой: «мир есть вода», «мир есть огонь» и т.п. На место непостижимо Целого ставилась зримая часть (вода, огонь), и эта часть выдавалась за реальность. Фалес или Гераклит знали, что эмпирически не всё вода и не всё огонь. Но (если модернизировать ход их мысли) они постулировали первоэлемент как базис, а все остальное рассматривали как надстройку. Помогала традиция мифопоэтического мышления, в котором каждый термин открыт: всё может значить всё, всё переходит во всё; предмета, резко обособленного от других предметов, еще нет; единичное не оторвано от всеобщего, оно воспринимается как звено бесконечной цепи, и, потянув за любое (вода, огонь), можно вытянуть Единое. По мере того как эта текучесть исчезла, первичное становилось абстрактным. Появилась общая рубрика для воды, огня, земли и воздуха: беспредельное, атомы и пустота, материя. Но по сути дела ничего не изменилось. Говоря, что материя первична, мы повторяем старый ход: зримое, осязаемое есть основа незримого, таинственного. «В конечном счете», как говорили классики, все незримое и таинственное вытекает из данного нам в ощущении, зримого, чуждого тайне. Целое складывается из познаваемых частей, как велосипед из деталей, ковер из ниток. Деталей, ниток очень много, но интеллектуально все они обозримы.

Этот постулат неизбежен, если мысль не хочет начинать с тайны, с незримого, не данного в повторяющихся опытах, с интуитивно постигнутого творящего духа. Либо метонимии и синекдохи внешней бесконечности, либо метафоры внутренней бесконечности: Бог, Брахман, Дао, Дхармакайя...

Оба подхода опираются на опыт – только в разных состояниях сознания. Мистик чувствует реальность целостного и вечного не менее уверенно, чем обыденный опыт – реальность стула, на котором человек сидит, реальность своего обеденного стола и хлеба во рту. Но чувство реальности вечного выразимо только метафорой или молчанием. Оно непереводаемо – слово за словом – на язык обыденного опыта, наивного реализма. Напротив, наука начинает именно с него (хотя постепенно все дальше и дальше уходит в область абстрактных конструкций). Она опирается либо на обыденный опыт, либо на логику. Это можно делать без всякой философии или придерживаясь традиционной философии или религии. Но если возникает потребность в последовательном научном мировоззрении, основанном на фактах и логике, то наука отступает от своей верности частному аспекту знания, акцентирует ту или иную частность и трактует как основу Целого, как базисную реальность.

Пока эта деятельность оставалась в области натурфилософии, она была мирным занятием ученых. Положение изменилось в XVIII в. Полунаука (как назвал ее Шатов в ночном разговоре со Ставрогиным) стала объяснять историю и тотчас сделалась бичом нашего времени, хуже голода, мора и чумы (характеристика из того же текста). Вселенная, как ее ни толкуй, практически недоступна человеческой страсти к порядку, и даже биосфера затрещала только в XX в. А полунаука с первых своих шагов взялась переделывать общество повсюду, где теория встретилась с традицией «административного восторга». Это большая группа стран: Франция, Россия, Китай, Вьетнам... Начиная с эпохи Просвещения возникает идея переделать общество сверху донизу, сделать его разумным, воплотить Теорию, Идеологию. Здесь пролегла граница между голландской революцией, английской революцией, американской революцией, где люди стали высвобождать сложившиеся институты, и царством Утопии.

До XVIII в. держалось понимание истории как таинственного течения, направляемого

неисповедимой Божьей волей. Эта метафора неуязвима, если сохраняет свою поэтичность, если рассудок не реализует ее, не доводит до подробностей. Однако усердие друзей Нова невозможно было удержать, и именно оно расшатало веру. Атеисты расстреляли чучело веры, выпотрошенной богословами.

Разум осмнадцатого века, вдохновленный механикой Ньютона, объяснявшей ход небесных светил, не хотел преклониться перед тайной истории, и место Провидения занял Прогресс. Прогресс не зависел от сверхъестественных сил. Он естественно торжествовал над невежеством и предрассудками. Все бедствия прошлого были объяснены: люди просто не понимали, что дважды два четыре. Теперь они поняли это, и впереди маячило светлое будущее.

Когда это будущее стало реальностью, Кондорсе (изобретатель слова «прогресс») принял яду (иначе его ждала гильотина). Так начинается век идеологии, который, возможно, пришел к концу – или по крайней мере к глубокому кризису. Никуда не подевались западничество и почвенничество, либерализм и авторитаризм, но опровергнуты попытки претензии идеологии на универсальность, на право рассматривать религию и философию как свои частные формы.

Примерно в 1987 г. одновременно была высказана мною (в «Гласности») и И.Роднянской (в реферате, на который сослался Ю.Шрейдер в «Новом мире», 1989, № 11) одна и та же идея, что религия и идеология – совершенно разные вещи, что идеология имеет довольно точную дату рождения (XVIII век). На круглом столе редакции «Века XX-го» 9 января 1990 года эту мысль поддержал С.Аверинцев. Сходную точку зрения развил Фазиль Искандер («Огонек», 1990, № 11). Такой стихийный консенсус говорит о сдвиге в общественном сознании, о прекращении идеологического гипноза. Религия – связь человека с вечностью и связь людей, объединенных общим чувством вечности. Философия – попытка секуляризировать, мыслить в понятиях образ Целого, созданный откровением. А идеология – разновидность популярной философии, дающая примерную ориентацию в процессе стремительных перемен. Она целиком во времени, вечность – не ее тема. Иногда идеология утверждает роль религии, но сама по себе идеология (даже романтическая) связи с вечностью не дает. Так же как религия не дает исторически конкретной ориентации в историческом процессе. Масштабы религии слишком крупны для споров народных депутатов.

Белые нитки теории

Злокачественной формой идеологии является монопараметрическая (одноточная) теория. Из ткани бытия выдергивается какая-то нить и трактуется как Провидение, как сила, которая в конечном счете все определяет. Например, развитие производительных сил, раса, этнос. Одноточная теория знает, что существуют христианство, ислам и т.п., но рассматривает их как нечто вторичное, второстепенное, производное, надстроечное. Базис (класс, или раса, или этнос) нажимает на педали, и колеса надстроек вертятся. Но почему базис – это базис?

Марксизм никогда не захватывал широкие слои в англосаксонских странах. Марксизм вдохновил большевиков – и сегодня корчится под грузом их пирровой победы. Но чужой опыт никого не убеждает. Для африканцев первое дело – вырваться из порочного круга слаборазвитости, а буржуев, организаторов производства, во многих странах этого континента нет, и главным толкачом развития становится государство. Поэтому некоторые африканцы склонны думать, что административно-командный путь в принципе хорош, надо только не повторять некоторых частных ошибок.

Марксизм, вероятно, самая сильная одноточная теория. Она хорошо укоренена в истории науки. Археологи до Маркса создали периодизацию по орудиям труда (каменный век, бронзовый век). В эту схему легко входили новые сдвиги, поразившие XIX век, «век паровозов и железных дорог». «Монистический взгляд на историю» (как назвал его Плеханов) складывался сам собой. И то, что развитие связано с классовой борьбой, заранее открыли историки Реставрации. Оставалось

соединить теорию производительных сил с французским социализмом и гегелевской диалектикой. И вот два молодых человека (одному было 29, другому 27) написали Коммунистический манифест. Предсказали – до всякого самостоятельного изучения капитализма – его гибель и прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Потом революция 1848 года потерпела поражение, Маркс оказался в эмиграции и задним числом попытался доказать, что революция все равно победит. Делал он это талантливо, разработав ряд вопросов социологии и политэкономии, но время от времени поворачивал свой анализ так, чтобы поддержать веру в социальную революцию. Это хорошо описал Джилас: «В нем талант идеолога, политика и пророка перевешивал способности научного исследователя. Маркс, несомненно, блестяще владел научной методологией, скрупулезно собирал материал, тщательно анализировал его, но почти всегда использовал эти данные для своих идеологических проектов... Даже в своей самой сильной научной работе – «Капитал» – Маркс не удержался от пророчества: «Бьет двенадцатый час капиталистического производства», – писал он, например, и, как видим, ошибся» («Огонек», 1990, N 9, с.27).

Марксизм с самого начала стремился захватить массы, «стать материальной силой». У Дарвина этого намерения не было. Он был ученый-естествоиспытатель без всяких социальных амбиций. Но из его «Происхождения видов» очень скоро возник социальный дарвинизм, а затем и расовая теория. Дарвин давал простое, однозначное объяснение сложному процессу. Он был одним из великих упрощителей, редуccionистов, а это именно то, в чем нуждается идеология. И за возможность редуccionии духа к материи, человека к обезьяне безо всякого участия Дарвина ухватились идеологи.

Идеология выросла также из психоанализа Фрейда. Правда, здесь она не совершала социальных революций, но на ее счету революция сексуальная. Честертон сравнивал психоанализ с открытием огромного темного подвала, в котором неизвестно что таится. Из открытых возможностей мысли Фрейда выросли неортодоксальные школы Адлера, Юнга, Фромма. Но сам Зигмунд Фрейд боялся открытости тайне, не хотел сдвига в сторону мистики и настойчиво повторял, что в конечном счете подсознание сводится к либидо (или, на худой конец, к борьбе похоти со страхом смерти). В популярном фрейдизме либидо нажимает на педали, и вертятся колеса культуры. Возникла идеология сладкой жизни. Сдержанность – только источник неврозов. Любовь не начинается с глаз, не открывает в них тайну бесконечного – она прямо переходит к бедрам. Раскованность элементарных порывов не оставляет места для свободы духа. Психологи советуют не удерживать детей от онанизма. Хотя собственно у Фрейда есть теория сублимации либидо (возвышения змеиной силы пола до психических областей, в которых творится культура), оргазм стал универсальной единицей полноты жизни. Даже космическое чувство мистика описывается Радженшем как космический оргазм. Отброшено понимание, что душевная структура человека не лежит на одной плоскости, свобода высших уровней невозможна без известного подчинения материального низа духовному верху, – хотя бы и без крайностей аскезы.

Когда американские фильмы перенесли эту идеологию сладкой жизни в Иран, верующие сожгли кинотеатр вместе с публикой. Шах приказал казнить изуверов. Начались массовые демонстрации солидарности. Демонстрантов расстреливали. В мечетях объявили запись добровольцев – идти в первых четырех рядах (на верную смерть). Недостатка в желающих не было. Начался кровавый праздник шиизма, шахсей-вахсей до полной гибели всерьез (обрядовое поминовение Хусейна обходится мелкими уколами, и кровь льется без опасности для жизни). В конце концов у шаха не выдержали нервы. К власти пришел Хомейни. Я подробно рассказываю эту историю, чтобы прорвать плену лжи, созданную псевдомарксистскими объяснениями событий в Иране.

Конечно, Россия не Иран, хотя Азербайджан довольно близок к Ирану и другие мусульманские республики не очень далеки от него. Но и в России десятки миллионов людей только вчера перебрались из деревни в город; они еще к купальникам не привыкли и с сочувствием слушают инвективы В.И. Белова против аэробики.

Я вспоминаю два-три случая, когда откровенная сексуальная сцена в кино художественно необходима. Вообще тут все дело в безупречном вкусе и такте. Пушкин описывал в стихах близость с Натальей Николаевной, и у него это не пошло. Глядя на спящую Венеру Джорджоне, я каждый раз поражался божественному покою ее лица, впечатление от которого господствовало над красотой тела. Но достичь этого очень трудно. Особенно в кино, где материал художника – не звуки (как в ноктюрнах Шопена), не слова, не краски, а живые люди. Только очень талантливые артисты в глубоко подготовленной ситуации выдерживают это испытание. В подавляющем большинстве случаев сексуальные сцены – это кич, такой же кич, как патриотическая живопись Ильи Глазунова, разрушение эстетики, прямой удар по нервам, завлекательное искусство для кассы. И даже трудно сказать, какой кич хуже. Я с сочувствием выслушал вопрос женщины, осторожно обратившейся, кажется, к Старовойтовой, во время программы «Взгляд» 9 марта 1990 г.: нравится ли ей, как сейчас принято изображать женщин? Мне не нравится. По-моему, пропаганда сладкой жизни не многим полезнее, чем пропаганда классовой борьбы.

Все однониточные теории шиты белыми нитками. Пока существует общественная потребность в этой именно идеологии, ее белых ниток не замечают. Потом, когда проходит мода, слабости бросаются в глаза, дети удивляются глупости своих отцов. Это не значит, что они стали умнее своих отцов. Массовый отход от изжитой однониточной теории вовсе не означает отхода от однониточности вообще. Наоборот, многие разочарованные марксисты чрезвычайно легко становились (и становятся) расистами или фрейдистами. Все «памятливые» прошли через советскую школу и в чем-то сохранили структуру отвергнутой идеологии в самой грубой ее форме: есть Мировое Зло, есть выход из него в Светлое Будущее; на пути стоит Враг, и надо его уничтожить. Меняется только дополнение к глаголам «даешь» и «бей»... Эволюция либералов тоньше, но фрейдизм, распространенный в либеральной среде, мешает собрать духовные силы и приводит к распаду общества на элоев и морлоков (в фантастическом романе Г. Дж. Уэльса темные морлоки жрут живьем безвольных элоев).

Теория наизнанку

Никакого прогресса в чередовании однониточных теорий нет. Теории, модные сегодня, ничуть не лучше марксизма, социального дарвинизма и т.п. Каждую такую теорию очень легко вывернуть наизнанку. В 60-е годы я написал статью «Параметры и ритмы исторического процесса» (разумеется, оставшуюся неопубликованной). Я предлагал там подумать: что такое производительные силы, предмет труда, орудия труда, рабочая сила? Предмет задан природой. Орудия труда заданы историей. Активна только рабочая сила, но «самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что, прежде чем начать работу, составляет в голове план». Кроме Энгельса за это ручается здравый смысл. Следовательно (продолжим мысль Энгельса), исторические сдвиги начинаются в голове, в ее способности (и желании) планировать деятельность (или, напротив, предаться созерцанию). Следовательно, решающие сдвиги происходят не в производстве, а в культуре, в ее установках. Исторические материалисты вывозили заводы, идеалисты захватывали патенты, а немцы, оставшись без станков и технической документации, за несколько лет все восстановили: у них остались головы на плечах, выдержка и воля. Что же привело к экономическому чуду? Может быть, национальное раскаяние, отказ от агрессии, возвращение к традиционной культуре? К «Протестантской этике»?

Есть любопытные социологические законы, писал я в другом опыте 60-х годов, например, закон постоянного упадка удельного веса труда, прямо связанного с удовлетворением элементарных потребностей, и выдвигания все более далеких от домоводства форм деятельности. Физиократы ошибались, думая, что крестьянский труд навсегда сохранит доминирующее положение в обществе. Экономисты XIX века ошибались, думая, что такое положение сохранит промышленный труд. Сейчас на первое место выдвинулось производство научно-технической информации, но было бы наивно думать, что это конец, за которым невозможны никакие другие сдвиги. Они не только

возможны, но прямо необходимы. Рост значения умственного труда вызывает новую задачу – производства творческого состояния, производства такого состояния мозга, при котором он решал бы свои задачи играя. Так же как мощная промышленность удесятерит силы земледельца, сфера, занятая производством творческого состояния, удесятерит силы физика или математика...

Есть закон падения удельного веса доминирующей формы труда. Бушменский род целиком занят охотой и собиранием съедобных корешков. В крестьянских нациях 80-90% населения заняты сельским хозяйством. Удельный вес пролетариата не превысил 50-55% и начал падать... Маловероятно, чтобы количество ученых когда-нибудь достигло и трети населения... Общество становится все более плюралистическим, все более сложным. Ничего подобного старому монолитному народу впереди не маячит.

Производство вообще перестает быть главным человеческим делом. Даже производство формул. Мы стоим перед великим поворотом. Забота о пропитании в развитых странах отодвигается на второй план. И вместе с этим на второй план отодвигается борьба за власть над природой... Никакая власть не дает счастья. В том числе и такая утонченная власть, как знание. Мы счастливы скорее тогда, когда все забываем... Устойчивость всякой культуры и внутренняя устойчивость личности основаны на равновесии дела и праздника:

«Непостижимо то, что Господом зовут
Его покой в труде, в Его покое труд...»
– писал Ангелус Силезиус.

Таким образом, из научной модели производительных сил и производственных отношений вовсе не вытекает марксизм как идеология. Исторический процесс – это развитие производительных сил, и рационализация человеческих отношений с природой (как подчеркивал Макс Вебер), и нарастающая дифференциация общества и культуры (по Дюркгейму), и прогресс нравственных задач, связанный с ростом разрушительных тенденций в сложном обществе, и все более ясное понимание откровения... Различные подходы остаются, рушится идея базиса, исчезает отмычка ко всем замкам.

В глубь теории этносов

Такой же печальной представляется и судьба теории этносов, пытавшейся дать универсальное объяснение всего на свете, редуцировать все проблемы к этническим. Правда, критика теории этносов не в моде. Попробую, однако, пойти против течения. Заранее извиняюсь за длинноты. Короче никак не выходит.

Критикуя Л.Н. Гумилева, одного из наиболее активных приверженцев этой теории, нельзя вырывать отдельные суждения. Они часто неточны (чтобы не сказать больше), а целое тем не менее захватывает: «Рождению любого (подчеркнуто мной. – Г.П.) социального явления предшествует зародыш, объединение некоторого числа людей, симпатизирующих друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью или исторической судьбой... Такая группа может быть разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и т.п., но общее, что можно вынести за скобки, – это подсознательное взаимовлечение... Те немногие (группы. – Г.П.), чья судьба не обрывается ударами извне, доживают до естественной утраты повышенной пассионарности, но сохраняют инерцию тяги друг к другу, выражающуюся в общих привычках, мироощущении, вкусах и т.п. (Такая группа. – Г.П.) уже не имеет силы воздействия на окружение и подлежит компетенции не социологии, а этнографии, поскольку эту группу объединяет быт». Сопrotивляемость среде у конвексий (инерционных групп) «стремится к нулю, и тогда они рассасываются среди окружающих консорциев» (групп зачинателей, пассионариев).

Что влечет пассионариев друг к другу? – спрашивает Л.Н. Гумилев и отвечает: «Подсознательная

взаимная симпатия особей. На основе этого принципа заключаются браки по любви». «Именно так зарождалось на семи холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов... монголы в XIII в., да и все, кого мы знаем» (подчеркнуто мною, Г.П.).

Так же слепа, по мнению автора, и ненависть, разделяющая народы, вероисповедания, социальные группы. И ничего с этим нельзя поделать. Л.Н. Гумилев не различает подсознания толпы и сверхсознания зачинателей великих религий, преодолевавших вражду племен. Все, что недоступно разуму, сводится к одному: к слепым симпатиям и антипатиям. Преображения нет, ветхий Адам никогда не становится новым Адамом. (Задача такая в мире Гумилева никому не приходила в голову. Мы духовно переносимся в доосевое время – до Будды и израильских пророков.) Никак не объясняется, почему христианство, или буддизм, или ислам, сталкиваясь с новыми «консорциями», не развалились, а покорили себе пассионарных варваров; почему монголы не обратили мусульман в шаманизм, а Олег, прибавив свой щит к воротам Царьграда, не ввел в Византии культ Перуна.

По Гумилеву, одну и ту же спичку нельзя дважды зажечь. Консорция переходит в конвиксию, конвиксию ждет распад. Периодические возрождения первоначальной духовности в мировых религиях Лев Николаевич не рассматривает. Народы, живущие больше тысячи-полутора тысяч лет, он с презрением сбрасывает со счета: «Из тех, кто творили великие дела 2 тыс. лет до нас, уцелели лишь жалкие осколки немногих». Еще менее устойчивы суперэтноты (общности типа Римской империи). Рыхлые образования, созданные избыточной энергией этноса, обречены на развал в течение нескольких веков.

Есть, однако, два народа, слишком многочисленны, чтобы отмахнуться от них, как от ассирийцев, армян или евреев. Это индийцы и китайцы. Л.Н. Гумилев пытается разорвать непрерывность китайской и индийской традиции, настаивая, что в VI - VII вв. варварские вторжения изменили этнический характер Индии и Китая. Не берусь судить о сдвигах в физической антропологии, но культура этих стран отличается очень большой устойчивостью и все время развивалась по своей внутренней логике, а варвары чрезвычайно быстро индианизировались и окитаились.

Если поверить Л.Н.Гумилеву и признать существование отдельных этносов: северокитайского и южнокитайского, а также этносов раджпутов и т.п., то Китай и Индия в целом суть суперэтноты. Почему же они не распались? Римская империя вела себя хорошо, по правилам, а Китай – очень дурно: никаких признаков распада его нет и на рубеже XXI века. Суперэтнос, существующий три с половиной тысячи лет, – это совершенное опровержение установок Гумилева.

Если же считать Китай и Индию этносами, то группа жалких остатков немногих возрастает до, примерно, третьей части человечества. Отказываясь от иерархии этнического и вселенского духа, Л.Н.Гумилев закрывает себе дорогу к пониманию величайших событий истории. С его точки зрения, народы с разными привычками не могут сотрудничать, не могут сосуществовать. Если же история их соединяет, то «химический комплекс» дает ядовитые плоды. Однако как быть с христианством? Подсознательной симпатии между иудеями и эллинами не было. Напротив, при Тиберии-кесаре александрийские эллины учинили погром и – при поддержке римского легиона – вырезали 50 000 иудеев. Именно на этом историческом фоне были сказаны слова ап. Павла. «Несть во Христе ни эллина, ни иудея», несть погромщика и жертвы погрома, есть христиане. И вот сыновья погромщиков и сыновья жертв погрома вместе создали церковь. Как это объяснить без откровения, попавшего этнические страсти? Как это объяснить на уровне слепых порывов пассионариев, консорций и конвиксий?

Теория этносов закрывает дорогу к пониманию великих коалиций культур, культурных кругов, цивилизаций, то есть делает шаг назад от Шпенглера и Тойнби, назад к романтическому национализму. На Западе это не вызвало никакого энтузиазма. Когда я послал одну свою работу, где, в частности, затрагивалась концепция Л.Н. Гумилева, в журнал «Диоген», то редактор г-н Кайюа

ответил, что статью в целом он напечатает, но изложение и критику теории этносов просит опустить: она неинтересна западному читателю. Я задумался: в чем причина такой разницы восприятия? Причин оказалось несколько.

Во-первых, для нас этносы были отдушиной в абстрактном схематизме производительных сил, производственных отношений и подобных категорий. Запад такого обязательного схематизма не знал, потому не знал и эффекта освобождения от него, окунания в страсти готов и гуннов, викингов и монголов.

Во-вторых, теория этносов – попутчик распада империи, а Европа стремится к интеграции. Этносы пришли в пору там, где возникло желание уйти в сторону от наследия последних десятилетий, сбросить его на чужие плечи. В Европе такого побудительного начала не было.

В-третьих, мы не знаем Макса Вебера, а на Западе это классика, и ядро гумилевской теории пассионарности воспринимается как парафраз веберовской теории харизмы. По Веберу, взрывные события истории коренятся в личности вождя, пророка (или лжепророка). Если вождь добивается успеха, через какое-то время наступает «рутинизация харизмы» (каждый папа непогрешим; каждый лидер партии – выдающийся марксист). Это эквивалент конвиксий. Л.Н. Гумилев делает акцент не на вожде, а на пассионарной группе. Иногда такая схема лучше подходит к делу. Например, якобинцы были пассионарной группой, без резкого преобладания одной личности. Однако развитие пассионарной консорции и веберовской харизмы совпадает. Гумилев настаивает, что пассионарная группа создает новый этнос. Вебер этого не делает. Думаю, что, с точки зрения француза, Вебер прав, а Гумилев ошибается. Подавляющее большинство французских историков не согласно с Кошеном (за которого ухватился И.Р. Шафаревич) и не связывает Великую революцию с появлением какого-то особого народа.

Каждая модель Вебера – инструмент, приспособленный к решению определенной задачи, логическая схема одного аспекта истории, а не всей истории. «Да и все, кого мы знаем» – фраза для Вебера невозможная. Фраза, напоминающая другую, выученную с детства: «История всех предшествующих обществ...» Прочитав это «все», «всех», сразу видишь: односторонняя теория, гибрид науки и политических страстей, самогипноз разума. Ото всего этого Вебер был свободен. В «Протестантской этике» он создает модель генезиса капитализма, подходящую к одному случаю и не претендующую на все остальные; в культурологии он предшественник Шпенглера, создатель «идеальных типов» цивилизации; а для взрывных, непредсказуемых исторических движений создана его теория харизмы. Никаких покушений на тайну Целого. Никаких переходов от науки к полунуке, к идеологии. Поэтому Вебер никогда не породил массовой идеологической альтернативы Марксу. Он увлекал только ученых. А интерес к теории этносов – массовый идеологический интерес.

Тем не менее, можно проследить чисто научную логику, по которой развивалась и складывалась эта теория. Гумилев – тюрколог, он много занимался историей племенных движений, потрясавших мир. Его теория этносов распространяет племенные нормы на динамику цивилизаций. Герцен писал, что XIX век – только сверху; чуть пониже – XIV век, а дальше – готтентоты и кафры различных оттенков кожи. Теория этносов и акцентирует это кафрское и готтентотское в нас самих. Она хорошо описывает ситуацию, возникшую в Сумгаите и Баку. Марксистский язык деформирует материал, гумилевский здесь на месте. Но, к сожалению, никакого выхода из этой ситуации теория этносов не дает. Существование азербайджанцев и армян можно охарактеризовать только как «химический комплекс»; подняться над взаимной ненавистью невозможно; остается разойтись: азербайджанцы в одну сторону, армяне в другую. А как быть в случаях, когда разойтись невозможно? Тогда будем пассионарно резать друг друга. Сейчас немодно поминать добром интернационализм 20-х годов, но он дал Баку несколько десятилетий хорошего мира. Хорошего потому, что интернационализм не затрагивал глубин, он держался только на рациональном уровне; это был покров, брошенный над бездной. И все же худой мир лучше доброй ссоры, подтвердит сегодня любой беженец.

Теория этносов путает национальный характер с племенным характером. Но нация (в отличие от племени) – это открытая этническая общность в постоянной переключке с другими нациями, делящими с ней общее наследие вселенской религии. Нация состоит из личностей, по-своему понимающих это наследие. Племя стандартно по своим симпатиям и антипатиям, нация – очень сложная система. Национальны и западники, и славянофилы, национальны Рогожин и Мышкин, Пугачев и Савельич, Петр I и Обломов. Русский, еврей, немец – только очень туманное указание на некую общность, в которой есть и локальные типы, и «сквозные». Например, Гамлет создан Шекспиром, но был и Гамлет Щигровского уезда. Хлестакова создал Гоголь, но есть еврейские Хлестаковы, армянские хлестаковы... Социальные сдвиги неизбежно связаны с ротацией типажей (например, бурным выбросом Хлестаковых, ноздревых, смердяковых), и вместе с этой ротацией (а не сами по себе) происходят этнические сдвиги.

«Этнос» и «малый народ»

Переплетение социальных и этнических сдвигов по-своему отражает (и искажает) теория малого народа И.Р. Шафаревича. Скорее всего она вызовет вне России еще более холодный прием, чем теория этносов. За этносы схватились и татары, и прибалтийцы, а малый народ, губящий большие народы, – идея чисто локальная.

Историческая почва теории – факт, отмеченный еще в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: партия сумела объединить классовую борьбу пролетариата, борьбу крестьян за землю и национально-освободительную борьбу угнетенных народов (четвертая из пяти причин победы Октябрьской революции; выучил наизусть в 1940 году). Факт бесспорный. Можно иллюстрировать его цифрами: в ЦК, избранном на 6-м съезде, было 50% великороссов, 25% евреев и 25% прочих инородцев. Участие инородцев было важным фактором революции. Но теория Шафаревича превращает фактор в базис, в решающую причину. А это уже очередная односторонняя теория.

Г.П. Федотов уделяет инородцам один абзац в своей «Трагедии интеллигенции», написанной в форме классической пятиактной трагедии с прологом в Киеве и вторым прологом в допетровской Москве. По Федотову, инородцы выступают на сцену только в четвертом акте и не вносят в трагедию ничего нового. Они поддерживают и усиливают беспочвенность русской интеллигенции, сложившуюся до них и без них. В этом смысле известную роль сыграли полуобрусевшие евреи, оторвавшиеся от своей традиции и не совсем укоренившиеся в русской. Они «максимально беспочвенны, интернациональны по сознанию и необычайно активны». «Русские реакционеры правы, когда сблизают интеллигенцию с еврейством, – продолжает Федотов в статье «Русский человек». – Они лишь извращают историческую перспективу, делая еврейство соблазнителем невинных русских юношей. Нет, орден русской интеллигенции давно сложился и вступил в единоборство с самодержавием, когда начался первый, сперва слабый, приток из гетто, притягиваемый духовным сродством». «Начиная с 80-х годов... обозначилось теснейшее слияние русско-еврейской интеллигенции не только в общем революционном деле, но и во всех духовных увлечениях, а главное, в основной жизненной установке, в пламенной беспочвенности и эсхатологическом профетизме. Это была духовная атмосфера, в своей религиозной глубине напоминающая первохристианство, но, конечно, лишенная центрального стержня и потому способная рождать всевозможные, порой изуверски-сектантские уклоны».

Вот картина, поражающая своей достоверностью. А теория малого народа – карикатура исторического процесса. Диаспора никогда не была решающей политической силой. Время от времени она присоединялась к какой-то уже наличной силе и поддерживала ее. Так, евреи в эллинистическом Египте присоединялись к претендентам на престол, сулившим прекратить погромы. Несториане, сирийцы и ассирийцы присоединились к монголам и попытались превратить их завоевания в крестовый поход против ислама. Армяне поддерживали русских против турок.

Зарубежные китайцы поддержали индонезийских и малайских коммунистов. Каждый раз это кончалось новыми погромами, а иногда почти полным истреблением малого народа. Мусульмане резали (и вырезали) несториан-ассирийцев, вырезали полтора миллиона армян. Косвенным следствием победы большевиков (достигнутой при активном содействии некоторых евреев и вопреки отчаянному сопротивлению других евреев) был фашизм в Италии и нацизм в Германии. В ходе второй мировой войны вся бывшая черта оседлости попала во власть гитлеровцев – погибли миллионы евреев.

Я двадцать лет работал библиографом, листал тысячи номеров иностранных журналов и накопил много подобных фактов. Всякий раз, когда часть малого народа вмешивалась в вооруженные распри больших народов, удвоенные бедствия обрушивались на весь малый народ. Но я не знаю ни одного случая, чтобы большой народ погиб от конфликта с малым. Это так же невозможно, как расколоть землю, стукнувшись об нее головой.

Геноцид евреев и цыган поразил христианскую совесть, потому что этим занимались немцы, номинальные христиане, в центре Европы. Но когда турки резали армян, все очень скоро забылось. Также как бесчисленные факты истребления целых племен и народов христианскими колонистами. Кто сейчас помнит, что за скальп индейца давали премию, в том числе за скальп женщины и ребенка? «Десять заповедей недействительны по ту сторону Суэцкого канала...» В честь Сесилия Родса, автора этого изречения, были названы Южная Родезия и Северная Родезия. И никого это не возмутило. Христианская совесть мирилась с колониальным «все позволено», как впоследствии совесть левых интеллигентов – с революционным «все позволено». Возмутились только Пол Потом, потому что он опоздал: Европа к его времени уже освободилась от некоторых иллюзий.

Внимание к бесчисленным фактам геноцида не входит в нашу образованность. Поэтому нет понимания, что геноцид – удел одних малых народов. Бедствия же больших народов надо называть как-то иначе: истребление социального слоя, стратоцид (расказачивание, раскулачивание). Украинцев как украинцев, русских как русских, китайцев как китайцев не истребляли никогда, хотя потери Украины, России, Китая от социальных экспериментов были огромными и 20% от 100 000 000 больше, чем 100% от 500 000. Злоупотребление словом «геноцид» поддерживает иллюзию, что малый народ грозит поработить и даже истребить большой. Это чистейшей воды фобия. Иностранцы, приобретавшие власть в годы революции, выражали дух революции, а не частные интересы евреев (Троцкий) или грузин (Сталин).

Иногда диаспорофобия приобретает форму страха духовного вредительства со стороны малого народа. Не знаю, искренно ли гитлеровцы боялись влияния Гейне. Но история арабского халифата дает более интересный пример. Во время расцвета империи арабский язык стал родным для множества иностранцев. Вместе с чистокровными арабами они создавали новую, городскую, мировую арабскую культуру. Абу Нувас (один из персонажей сказок «Тысячи и одной ночи»), любимец халифа Гарун ар-Рашида, в прекрасных арабских стихах вспоминал свое персидское родство и посмеивался над простодушием бедуинов. Тогда это никого не смущало. Повелитель Багдада сам чувствовал себя ближе к персидским царям, чем к кочевникам пустыни. Но вскоре начался упадок империи. Причины этого упадка довольно поздно понял великий арабский историк Ибн Халдун. Военственные племена, оказавшись в условиях городской культуры, теряли свою солидарность (основу боевой силы). Но сперва злопыхатели во всем обвинили поэтов. Столичная литературная школа, отошедшая от доисламских образцов лирики, была обвинена в шуубийе (примерный перевод – арабофобия). Начались гонения на шуубитов. Союза писателей тогда не придумали и пленумов тоже, но в доносах недостатка не было. Некоторые шуубиты погибли на плахе. Упадка империи это не остановило и упадка арабской культуры также. Спор сам собою выдохся. Книги шуубитов и антишуубитов мирно встали на одну полку. Не берусь судить наверняка – я не читал подлинников, – но, кажется, антишуубийе не превзошла мнимую арабофобию по своим достижениям. Арабская культура уже стала городской. Она могла пытаться стилизовать бедуинскую наивность, любоваться ею, но не могла уже вернуться в пустыню.

Действительным новым взлетом стала поэзия суфиев. Суфии – мистики, искавшие живого переживания вечности. В лирике одного из древних племен, узритов, они нашли эротическую метафору любви к Богу (узриты вошли в русскую культуру несколькими строчками, вдохновившими Чайковского: «Я из рода бедных Азра; полюбив, мы умираем»). В стихах суфиев смерть от любви стала образом мистической смерти в ветхом Адаме и рождения в новом, а застольная песнь – метафорой мистического экстаза. К спору шуубитов с антишуубитами суфии были совершенно равнодушны: их не волновало ничто брэнное. Даже спор вероисповеданий кажется им занятием глупцов. Бог Ибн ал-Фарида и Ибн Араби – по ту сторону вероисповеданий. На мой взгляд, именно Ибн ал-Фарид – вершина арабской поэзии. Это поэт, сравнимый с Тагором и Рильке...

Думаю, что в том же направлении выход и из современного духовного кризиса: не назад в деревню, а вверх, в небо, в поэтическое воплощение того духа, которым веют (если брать русские примеры) писания св. Силуана Афонского и проповеди владыки Антония Блюма. Сейчас так кипят страсти, что с этим трудно согласиться. Духовное воспринимается только вперемешку с ненавистью, как пророческий гнев; а чистая безгневность кажется пресной. Публикация стихов Александра Солодовникова в «Литературной газете» вызвала упрек в квиетизме. Но неуклонно увеличивается читательское внимание к созерцательной поэзии, в которой нет ни грамма политики, публицистики: только опыт прислушиванья к тишине. Чем больше газетного шума, тем больше влечет к себе тишина.

Освобождение от ненависти

Маркс писал, что философы только объясняли мир, а задача в том, чтобы его переделать. Мы прошли через полосу переделок, перековок, и сегодня я бы сказал, что задача культуры – покончить с массовым производством ненависти, освободиться от помрачения ума, вызванного страхом и ненавистью. До тех пор, пока этого нет, одна фобия просто сменяет другую фобию, господствует мысль, конструирующая желаемое, и одна односторонняя теория сменяет другую.

Образование не спасает от пристрастий. Оно развивает все человеческие качества, в том числе способность к логическому самогипнозу. И развитой человек должен сознавать эту опасность, чтобы избегать ее. Чем однозначнее отправной пункт мысли, тем сильнее угроза порабощения духа логикой, как это происходило с героями Достоевского. Поэтому каждый шаг формализации мышления, каждый успех точных методов в традиционно гуманитарной сфере связан с опасностью шигалевщины. Не повторения шигалевщины Шигалева, а какого-то нового, более утонченного образца той же ереси.

Если мы вглядываемся во что-то внутренне бесконечное, в личность, и не хотим терять ее из виду, то железная дорога логики за какой-то станцией назначения становится бесполезной, надо идти пешком и на каждом шагу думать, куда поставить ногу. А если чувство уже поставило перед нами Ложную Идею, Мировое Зло, образ врага, то остается сесть в вагон и катиться по рельсам, все больше и больше убеждаясь в своей правоте. Факты, по которым, как по шпалам, проложены рельсы логики, становятся незыблемыми, коренными, решающими. Факты, противоречащие теории, вообще не факты, а (как выразился классик) фактики. «Разум – простофиля сердца» (Ларошфуко).

Бескорыстный исследователь может создавать отдельные логические модели – одну, другую, третью, четвертую, – но не дает себя поработить ими. Действительность истории все время остается для него таинственной и требующей новых разгадок. А ум, замкнутый на облюбованной логической схеме, – это ересиарх. «Все гуманитарные науки, – писал Хайдеггер, – да и все науки о живом существе именно для того, чтобы остаться строгими, должны непременно быть неточными (поясню: поминутно готовыми сойти с колеи логики и потянуться за цветком туда, где цветы растут, вне полосы отчуждения. – Г.П.). Неточность исторических гуманитарных наук не порок, а лишь исполнение важнейшего для этого рода исследований требования». Ибо точность – функция

правильных операций с однозначными терминами. Чем однозначнее термин, тем мысль точнее. Нетрудно понять, что о человеке, о существе, обладающем свободой воли, нельзя мыслить точно. Можно предполагать, что Столыпин, останься он в живых, все равно был бы уволен из-за несогласия с Гришкой Распутиным. А можно предположить, что Столыпин не допустил бы первой мировой войны (или по меньшей мере, революции). Из двух мыслей достойна доверия скорее та, которая не дает никакой выгоды. Куча фактов, подобранная для подкрепления идеологии, не доказывает ничего. Маркс не убедил антимарксистов. Теория этносов Гумилева, изложенная на 1000 страницах, также не убеждает меня, как на 10 страницах.

Историк не может приблизиться к истине, не сознавая своих пристрастий и не блокируя их готовность продумать противоположную точку зрения, явно неприятную и нежеланную. Историк необходимы способность к самоанализу, сознанию своей ограниченности, смирение... И, пожалуй, философская культура, умение мыслить сразу в нескольких направлениях, способность видеть слона одновременно и как хобот, и как бивни, и как брюхо, и как ноги и все это охватывать в образе СЛОН. Идеолог, занявшийся историческими исследованиями, к этому сплошь и рядом не готов. Он не понимает, зачем плюрализм? Во всех науках строгих, т.е. опертых на математику, истина одна...

Строгость мысли неотделима от строгости к самому себе. Надо годами бороться со своими полемическими страстями, пока научишься подниматься над ними и находить точку бесстрастия духа. Идеал историка изобразил Пушкин:

Так точно дьяк, в приказах поседельй,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая
равнодушно, Не ведая ни жалости, ни гнева...

То есть, понимая относительность исторического добра и исторического зла и в каждой партии различая ее пафос, ее осколок истины.

Рациональное и иррациональное

Известно, что никакое, даже самое деспотическое правительство не запрещало истину. Преследовались только ложь, клевета, ересь. И войны никогда не велись во имя зла. Только во имя своего понимания добра. Сперва само собою разумелось, что общего добра нет, и добро нашего племени может быть злом для другого племени. Потом, когда возникли религии с образом добра для всех и каждого, эта идея тут же была извращена, и из круговой поруки добра были исключены те, кто веруют неправильно, не по-нашему.

Исповедники научных идеологий анафематствовали тех, кто неправильно мыслят. Поэтому очень важно понять, что нет никакого единого закона, управляющего историей. Есть множество законов, противоречащих друг другу. И если Провидение как-то ведет нас, то оно действует интуитивно, по ту сторону логики. Во всяком случае, так действуют люди, избранные Провидением, – как бичи Божьи или как строители Божьего порядка. Они угадывают какую-то неожиданную, скрытую возможность и осуществляют ее.

Нет единой необходимости. Каждый вектор истории обладает своей логикой; векторы, тенденции сталкиваются, и все время происходит то, что юристы называют «конфликтом законов»: один закон разрешает, даже требует, а другой запрещает. И поэтому свободная воля личности или просто случай как бы поворачивает стрелку, и весь состав истории попадает на одну линию из нескольких возможных, иногда вовсе не самую вероятную.

Если мерить историю тысячелетиями, поворотные минуты теряют значение. Все дороги ведут в Рим. Но с птичьего полета сглаживается и все индивидуальное, духовное, придающее истории ценность и смысл. Пушкина могло бы не быть, России могло бы не быть... Остаются безликие накапливающиеся сдвиги: дифференциация культуры, социальная дифференциация, рационализация отношений с

природой, рост производительных сил, рост населения. С конца XVIII в. все это вместе называют прогрессом. Сейчас радость просветителей кажется несколько наивной. Производительные силы суть одновременно разрушительные силы, дифференциация культуры делает ее неустойчивой, взрывоопасной. Духовные глубины перестают быть достоянием каждого (как у примитивного племени, в котором каждый во время обряда совершеннолетия постигает всю премудрость). Цивилизация требует от человека повышенной ответственности за судьбу всего общества, всего человечества, а он этого не понимает и, как чеховский злоумышленник, отвинчивает гайки с рельсов. Можно говорить о прогрессе нравственных задач – и о росте разрыва между задачами и реальным поведением. Индейцы были потрясены несоответствием между заповедями христианства, которое им проповедовали, и поведением испанских конкистадоров. «Благородный дикарь», придуманный просветителями XVIII века в укор цивилизации, был до некоторой степени срисован с натуры. Можно рассматривать историю как накопление потерь. Применительно к поэзии эту точку зрения развил Мандельштам.

Зигзаги истории

Прямая линия между Эсхилом и Шекспиром, между Архимедом и Галилеем может быть проведена только на графике. Реальное движение истории ближе к зигзагу. Развитие расплывает единство общества и тождество человека с самим собой. Деревенский житель, попавший в космополитический город, теряет духовные и нравственные ориентиры. Выходом из подобного кризиса было около 2000 лет тому назад становление мировых религий, воссоединивших человека с собственной глубиной и разноплеменных людей друг с другом. Переменились мифы. Прометей, Одиссей, Геракл уступили место Богоматери и святым. Данте отправил Одиссея в ад. А в рай вела Беатриче... Это умонастроение длилось примерно полторы тысячи лет. Потом колесо истории снова повернулось. Произошло возрождение античности, ее интереса к внешнему, к географическим и научным открытиям, – и несколько веков процессы дифференциации, рационализации, роста шли в ускоренном темпе. Пока не уперлись в новый духовный и экологический кризис.

Такое развитие можно назвать маятниковым, волновым, зигзагообразным, спиральным (подходит любая метафора). Но оно не сразу далось человечеству. Большинство цивилизаций прошлого, оказавшись в кризисе, не находили из него выхода и гибли. Образ их движения – круг. Как сказал восточный мудрец из рассказа Анатоля Франса: «Они рождались, страдали и умирали». Только четыре коалиции культур, опираясь на мировые религии, доказали свою способность переносить кризисы. Это западный христианский мир, мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока. В этих цивилизациях покамест центростремительные, объединяющие и сохраняющие силы оказались мощнее, чем логика, ведущая к развалу, к апокалипсису. Но опасность развала очень велика, особенно в самой динамичной, западной цивилизации, ставшей сегодня мировой. Нет никаких гарантий, что пророчество Иоанна Богослова не осуществится (не в I веке, так в XXI-м).

Русские зигзаги

Помимо общих параметров истории есть еще местные. Например, Россия складывалась не внутри коалиции, а на общей окраине западного мира, византийского мира (оставшегося неосуществленным узлом еще одной великой коалиции) и степи (постепенно вошедшей в мир ислама). Положение навязывало ей задачу нового вселенского синтеза – и не давало ни времени, ни сил сосредоточиться на этой задаче (отсюда метания П.Я. Чаадаева между неограниченной верой в Россию и отчаянием). Перекресток цивилизаций был открытым, без естественных границ, с огромными возможностями внешнего расширения и огромной уязвимостью для нашествий. Непомерно много сил уходило на ратное дело. Гипертрофия охранительной функции подавляет культуру. Самодержавие выковывает единство страны и одновременно сковывает ее.

С XVII в. угроза со стороны степи уступает место угрозе со стороны военно-технического

превосходства Запада. Самодержавие Петра становится на пути европеизации. Методы Петра вызвали ряд неблагоприятных последствий, отчасти специфически российских. Но основные болезни развития повторились 200 лет спустя во всех странах Азии и Африки, захваченных вестернизацией. Всюду возникают беспочвенная интеллигенция, раскол на западников и почвенников, проблема диктатуры развития, которая легко становится диктатурой застоя.

Сохранилась ли непрерывность русской истории в советский период? Я думаю, что да. Самая склонность к прыжкам в утопию обнаружилась впервые еще в XVI веке, в опричнине. Это не просто разгул зла и не просто террор; в ней была идея перенести по крайней мере в часть державы тот порядок, который Иван Грозный видел в монастырях, создать царство-монастырь во главе с царем-игуменом. А то, что получилось безобразия и пьяный разгул, по-видимому, тоже не случайно. Практика утопии всюду унижает ее идею.

Утопия – не чисто русский соблазн, но и не всеобщий. Для нее нужен, во-первых, разум, оторвавшийся от традиции, разум прожектора, и во-вторых, привычка к «административному восторгу». В Индии такой привычки не было и утопий тоже не было; в Китае утопии создавались и были попытки осуществить их. На Западе эмансипированный разум сочинил множество утопий, но они оставались интеллектуальной игрой. Там не было достаточной силы «административного восторга». В России неустойчивость традиции (несколько раз менявшей свою ориентацию) и неограниченность власти создавали идеальные условия для утопического эксперимента. Тенденция к нему прорывается в крайностях петровских реформ, в затеях Павла, Аракчеева... Волошин, современник военного коммунизма, связал все, о чем я говорю, в одной фразе:

Дикий бред военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений...

Ленинский прыжок в утопию был достаточно «почвенным», укорененным в традиции; и вместе с тем он мог бы не состояться. Если бы Фаня Каплан попала туда, куда целила, – все бы развалилось. Троцкий в 1935 году записал в своем дневнике, что если б убили его, Троцкого, то революция преодолела бы кризис и продолжалась, а если бы Ленина тогда, в 1918 году, убили, революция бы погибла. Система, которая подымала Сталина, еще не сложилась. Все держалось на политическом гении Ленина. И другого такого гения не было. Это говорит Троцкий, который отнюдь не страдал избытком скромности. Ленин был сгустком своего времени, полного неутолимых порывов к чему-то небывалому и трезво практического в выборе средств. Попади Фаня Каплан в сердце – мы считали бы большевизм авантюрой.

Но то, что было, было. И все равно опять выплывает общее для послепетровской России: интеллигенция, западничество и почвенничество, проблема диктатуры...

В мире открытых вопросов

Как же избежать новых интеллектуальных соблазнов, новых призраков прогресса (который все спишет), светлого будущего, окончательного решения, возвращения к букве Писания, дух которого по-прежнему не понят, и т.д.? Можно ли научиться жить перед лицом бездны непостижимого, в мире открытых вопросов, не сведенных с концами концов? Один и тот же человек то справляется с этой задачей, то сам надевает на себя шоры – как Достоевский в строе своих романов и в «Дневнике писателя».

Мудрецы Востока еще до Рождества Христова знали, что Целое нельзя высказать, можно только подсказать, подтолкнуть рождение образа Целого. И способность понимать подсказку нельзя дать каждому. Ее только иногда удается передать магией поэтического слова или живым общением учителя с учеником. Так старцы упанишад передавали свое понимание атмана и христианские старцы – свое чувство Бога. Так великие диагносты создавали медицинские школы, передавая

способность определять болезнь без всяких приборов...

Не могу не вспомнить поразивший меня случай. Первая моя жена накануне операции была на консультации у терапевта. Бегло взглянув на женщину, вошедшую в кабинет, он спросил:

«У вас фиброзная каверна легкого?» Пораженная Ира подтвердила. «Пусть Богуш (хирург) еще раз подумает», – сказал консультант. Богуш еще раз не подумал, операция кончилась смертью. Логически Богуш был прав. Операция (резекция легкого) при таких-то данных была рекомендована. А консультант угадывал организм как целое. Не до конца, чтобы запретить операцию, но достаточно, чтобы заподозрить недоброе.

Примерно то же происходит при операциях, которым подвергается общество. Многие найдут это сравнение неубедительным. Но именно смерть Иры на операционном столе изменила мое отношение к социальной хирургии, к революции. Перечитывая «Вехи», я подумал: Бердяев, Булгаков и еще несколько человек заподозрили недоброе и советовали хирургам не идти на риск. А у хирургов была точная (одноточная) теория, и страна была положена на операционный стол. Что противопоставили теории веховцы? Свои интуитивные оценки. Свое разномыслие. Они не сходились друг с другом во многих частных суждениях и не сделали никакой попытки сгладить это. На человека, требующего руководства к действию, «Вехи» должны были произвести впечатление профессорской болтовни. Но это книга единого духа, и сейчас, через 80 лет, поражающая своей верностью жизни и даже в частности почти пророческая.

Война империалистическая и война гражданская

Есть что-то общее между «Вехами» и столыпинской аграрной реформой: им не хватило времени, нескольких десятков лет спокойной жизни для спокойного внедрения в обычай. Этого времени история не дала. Дала войну, перенапряжение всех сил страны, распутинщину, революцию... И в обстановке глубокого кризиса победило влечение к теории, дающей обещание простого и окончательного выхода.

Кризис начался с самого обычного: с войны, объявленной тремя императорами, законными повелителями трех великих империй, вся история которых основана на войнах (мирным путем империи не создаются). И тут на всякого мудреца оказалось довольно простоты. Ни один из великих русских мыслителей не понял, что война в XX веке стала чем-то чудовищным и недопустимым. Впервые под ружье были поставлены десятки миллионов людей. Впервые вся гигантски возросшая мощь промышленности была повернута на разрушение. Впервые газеты объединились в пропаганде ненависти и практически слились в тоталитарную интеллектуальную машину. Наконец, впервые сделан был шаг к созданию тоталитарной экономики. Ленин не ошибся, увидев в германском государственном капитализме практический подступ к плановому хозяйству. Кайзеровская военная экономика была прототипом гитлеровской военной экономики, а гитлеровская и сталинская – близнецы-братья.

Ленин очень во многом не ошибся. Ожидая всю жизнь социального катаклизма, он увидел то, что другие не увидели (не хотели видеть): что начался «настоящий XX век» (Ахматова), совершенно новая эпоха, и открылись огромные возможности «превратить войну империалистическую в войну гражданскую» и броситься в Утопию. Чем это все кончится – он не видел. Но кончилось (кончается) уже в конце XX века, на пороге XXI-го, а возможности XX-го Ленин угадал замечательно (на уровне политика – гениально). Поэтому он рвался к власти, захватил ее и сумел удержать. Ленин был медиумом апокалиптической силы, вырвавшийся на поверхность истории, одним из тех, кто подвел человечество к нынешнему порогу преображения или гибели.

Сейчас здание, заложенное Лениным, в обломках; но в мире бродят другие идеи, способные вызвать ложный энтузиазм. И задача времени в том, чтобы освободиться не от одного марксистского

дурмана, но от всякого опьянения односторонней теорией, в том числе антимарксистской теорией. Группа риска идей принципиально открыта. Опыт Ирана включил в нее мусульманский фундаментализм. Возможно движение (и тоталитарная система) с лозунгами экологического равновесия, спасения народа от наркомании и алкоголизма, от аэробики, от коррупции, наконец. Демагоги оперируют самыми завлекательными лозунгами. Цель вовсе не должна быть людоедской. Людоедство осуществляется на пути к цели. Если народ заболел социальной горячкой и нашелся подходящий лжепророк.

Решают люди (состояние народа, его потребность в вожде, характер вождя). Был бы человек (говорили когда-то в ГПУ), а статья найдется. И идея найдется, если есть массовая потребность порвать с прежней жизнью, рвануться в будущее, рвануться в прошлое. Сперва в будущее, потом в прошлое. Сперва в национализм мировой войны (1914-1917), потом в интернационализм до нигилизма, потом снова в национализм. Из огня в полымя и из полымя опять в огонь.

Вход в точку покоя

Замечательный американский ученый Роберт Белла пишет, как он освободился от рабства идей: «Я увидел, что безусловная приверженность любой личности или группе необходимо становится демонической. Ничто человеческое не выдерживает этой тяжести. Безусловная приверженность коммунизму или свободному миру одинаково разрушительна. И я познал, что тьма внутри, что все мы убийцы в своих сердцах... Единственная разница между мной и человеком, схваченным в поножовщине, – то, что он как-то получил меньше благодати. Чувствуя все это, я не мог больше ненавидеть или оправдывать ненависть...». С этих пор Белла отказался от всех односторонних «как надо» и поставил себе одну высшую цель: «удерживать деятелей от охватывающего их транс».

Роберта Беллу можно назвать американским веховцем. Как и наши веховцы, он прошел через захваченность марксизмом, поплатился за это (в период маккартизма он вынужден был уехать в Канаду) и в конце концов пришел к религиозным убеждениям, более глубоким, чем бессознательно усвоенная и легко потерянная семейная традиция. Название его книги основано на стихе американского поэта Стивенса: «Мы веруем без верований, поверх (или по ту сторону) верований».

Бог есть дух, и этот дух живет в человеческом сердце, подсказывая ему образы истины. Но ни один образ, ни одна идея, ни один человек не вмещают в себя всю полноту истины и недостойны раболепного поклонения. Достоевский говорит моему уму и сердцу больше, чем Толстой, но он одержим был страстями, от которых Толстой свободен. Толстой почувствовал, что наша урбанистическая цивилизация становится чудовищной и экологически невозможной (у него не было понятия «экологический кризис», но чувство было). Однако рассуждения Толстого прямолинейны, как телеграфные столбы, и «Крейцера соната» вызывает у меня отвращение. Я с глубоким сочувствием прочел два тома «Архипелага», но не мог читать «Колесо», а «Раскаяние и самоограничение» прочел с чувством протеста (хотя общие положения, с которых начинается эта статья, готов подписать своею рукой). Я разделяю ту оценку, которую Даниил Андреев дал Ленину: не насквозь демонизированная личность, подобная Сталину, а деятель, охваченный трансом, «ражью», как называла его захваченность Надежда Константиновна, почему-то употребляя слово «раж» в женском роде (об этом в книге Валентинова «Встречи с Лениным»). И я вижу спасение не в том, чтобы проклясть Ленина и взорвать его памятники, а в том, чтобы научиться действовать, не впадая в раж.